



НАКАЗАНИЕ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

© Ю. Е. Пермяков

В статье обсуждены экзистенциальные основания карательных притязаний и сущностные особенности уголовного наказания.

Ключевые слова и выражения: наказание, вина, раскаяние, кара, карательные притязания, возмездие, прощение, единичность, гуманность, помилование, правосудие, судьба, свобода, локализация бытия, уголовная политика.

Пермяков Юрий Евгеньевич
кандидат юридических наук,
доцент
Самарский
государственный университет

Стоит только науке прикоснуться к вечной теме преступления и вины, сама тема необъяснимым образом исчезает, превращаясь в нечто другое, как правило, весьма актуальное для своего времени. Это обстоятельство еще в XIX веке было замечено Ф. М. Достоевским, который в 1876 г. записал в своем дневнике: «Различать преступление – это надо, но сказать, что нет никакого преступления, а есть только болезнь, – выйдет абсурд»¹.

Из всех видов нарушений социальных норм лишь преступление порождает в обществе требование восстановления справедливости посредством наказания. Наказание следует за преступлением. Эта причинная зависимость, вполне очевидная для обыденного сознания («украл-выпил-в тюрьму!»), находит свое моральное обоснование в виновности как непременном признаке преступления. Без вины нет преступления.

¹ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том 23. Л., 1981. С. 170.

Ю. Е. Пермяков

Русское слово «вина» (начало, причина, источник) означает способность человека быть причиной своих предосудительных поступков². Научный пафос, с которым XIX век приступил к исследованию вины и личности преступника, ныне сменился усталой растерянностью: нет никакого резона задаваться вопросом о специфике преступления, если существуют государства-мошенники³. Метафизическая картина мира, в которой есть место абсолютным ценностям, к концу XX века изрядно пошатнулась. Правоведение предпочитает рассуждать о функциях правосудия, умалчивая о сущности возмездия. Так и не сказав по существу что-либо о вине и наказании, социальная наука предпочла всю проблематику преступления (точнее – «девиантного поведения») рассредоточить по разным ведомствам, в итоге вина преступника исчезла тем же образом, каким в начале XX века в науке исчезли материя, субъект и бог знает что еще. Чтобы рассуждать о вине и наказании, необходимо уяснить систему координат, в которой исследование не потонуло бы в водах инфантильного антиавторитаризма или моральном ригоризме, в обоих случаях дискредитируя ценность моральной определенности и нормативности как таковых.

Действительно, как только виновное поведение рассматривается на каком-либо широком смысловом фоне, вина как специфический объект познания уступает свое место либо общей греховности и несовершенству падшего мира, либо социальным противоречиям и конфликту культур, либо критике реформ уголовного законодательства и технологии репрессивной политики.

В социологическом смысле вина преступника характеризует не столько само деяние или особое состояние преступника в момент совершения преступления, сколько состояние общественного сознания. «Виновен» – это признание, которое общество делает относительно себя: оно не способно к прощению и потому в преступнике усматривает не человека, а его злую волю, психическую неполноценность, классовую враждебность и иную маску социальной опасности. В том случае, если преступник признается нормальным человеком, общество переосмысливает законодательные формулировки преступления и практику уголовного преследования. Моральное большинство должно быть на стороне закона, эта аксиома уголовной политики объясняет наличие таких институтов уголовного права, как необходимая оборона, добровольный отказ от доведения преступления до конца и др.

Моральный упрек, адресованный преступнику, выполняет роль стигмы, поэтому вопрос о том, чего достоин человек, совершивший преступление, лукав в своей основе. Ответ уже дан. Совершивший преступление заслуживает лишь наказания, в противном случае мы бы не констатировали факт преступления. Тождество преступления и личности преступника также претендует на то, чтобы быть аксиомой уголовной политики.

² Даль В. И. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 150.

³ См.: Деррида Жак. Существуют ли государства-мошенники? Довод того, кто сильнее // Логос. 2003. № 1.

В силу вышесказанного наказание антигуманно по своей природе, оно предполагает ущербность человеческого в том, кого наказывают. Этот антигуманизм, как отстранение от человеческого, есть та правда о состоянии современного общества, которую следует знать и с которой следует жить. Нельзя себе мыслить законы отдельно от реальности, которой они вызваны к жизни. Устраняя из жизни людей наказание, мы устраняемся от правосудия и справедливости. Попытки учредить в семидесятые годы XX века «юстицию причастных» и т. п. были оправданы с позиций альтернативных средств реагирования на преступление в той мере, в которой преступление не соответствовало своей юридической квалификации. Поэтому гуманизм (прощение как абсолютное признание в преступнике человека) возможен как личный выбор в том, что касается лишь тебя одного. Он не может быть положен в основу правовой политики государства. Прощать преступника за других, чью боль ты не можешь забрать себе, безнравственно.

Сказанное имеет непосредственное отношение к полубившейся в России проблеме гуманности и помилования, поскольку нравственное раскаяние, т. е. осознание своей вины, признание юридической силы нарушенной преступлением нормы уголовного права и подчинение справедливо вынесенному судом приговору исключают со стороны осужденного какие-либо правовые притязания на снисхождение. Полное раскаяние в содеянном дает повод суду учесть это обстоятельство, оно может его обязать к выражению своего отношения к судьбе преступника с учетом его изменившегося сознания, но сам человек, в полной мере осознавший свою вину, со своим прощением о помиловании и освобождении от ответственности оказывается в противоречивой ситуации: его просьба о неприменении наказания не согласуется с его же собственным убеждением в общеобязательности правовых норм, без которого раскаяние оборачивается уловкой, выражением лица, соответствующего принятым в юриспруденции приличиям. Раскаяние как раз означает готовность к претерпеванию положенной меры ответственности. Вряд ли можно умозрительно постулировать наличие специфической потребности в страдании у раскаявшегося преступника, и хотя наказание способно достигать психотерапевтического эффекта, не им определяется его сущность. Избывание наказания предполагает претерпевание осужденным всей определенной судом меры ответственности, причем искупление вины как потребность самого преступника своим критерием имеет опять-таки меру, определяемую не им самим. Стало быть, о потребности в наказании, которой можно было бы, следуя мысли В. С. Соловьева, оправдать наказание в интересах самого преступника, говорить не приходится, если употребляемые при этом понятия – искупление вины, раскаяние – упираются во внешнюю меру как свое основание. Искупление вины означает состояние осуждающего, который перестал испытывать жжение несвершившейся мести, а не осужденного, который лишь может принять наказание как свою судьбу, и именно это спасает его от безумия. Как потерпевшему и очевидцам злодейского преступления трудно сохранить в себе человеческое отношение к преступнику, так и

ему самому, если он действительно осознал в самом себе необходимость нравственного отторжения от совершенного им преступления, трудно понять, почему его земля носит. Эти нравственные страдания никому не видны и никакому измерению не поддаются, лишь взгляд художника может оценить необходимую для нравственного возрождения силу посредством деталей, указывающих на эстетическое преобразование героя собственным преступлением: он лишен возможности радоваться счастью и быть счастливым, поскольку отрезан от мира и стал непричастен ему⁴.

Прощение преступления и избавления от наказания не вписывается ни в одну систему морали. Кантовская этика не знает помилования, поскольку этот правовой институт вступает в противоречие с принципом всеобщей справедливости. Прощение преступника возможно лишь как безосновательный акт со стороны потерпевшего либо со стороны суверенной верховной власти государя, на чем настаивал Гегель⁵. Право помилования он выводил из суверенитета монарха. Однако и с его точки зрения помилование – всего лишь забвение преступления, освобождение от наказания, оно не означает снятия преступления, в силу чего оно бы перестало быть происшедшим. Поскольку преступление способно быть фактом лишь в сфере права, границы которого очерчиваются нашей способностью к правовым суждениям, прощение преступника означает отказ от оценки этого события. Поэтому прощение является актом религиозного сознания, но не правового. Помилование как юридический институт выполняет социально-политические задачи в русле уголовной политики государства, однако этот институт не имеет никакого отношения к прощению преступника и забвению преступления. Как и смертная казнь, помилование не позволяет адекватно реагировать на преступление, поскольку здесь проблематично само присутствие другого. У прощения, которое мыслит в категориях единичного и уникального, не находится места для абстрактного понятия («а если все так будут», «как такового» и проч.), поэтому оно даже не подозревает о том, что происходит с преступником и преступлением: эти формы человеческого присутствия прощающему сознанию неизвестны.

⁴ Н.О. Лосский, связывая в своей книге «Условия абсолютного добра» в один вопрос нравственные муки и эстетическое отвращение к безобразному поступку, в этой связи обращает внимание читателей на то, как Достоевский-художник рисует встречу Раскольникова с любимыми им родной сестрой Дунечкой и матерью на второй день после убийства процентщицы и ее сестры: «Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему. Но он стоял как мертвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него громом. Да и руки его не поднимались обнять их: не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали.. Он ступил шаг, покачнулся и рухнул на пол в обмороке». Когда он очнулся, «взял их обеих за руки и минуты две молча всматривался то в ту, то в другую. Мать испугалась этого взгляда. В этом взгляде просвечивалось сильное до страдания чувство, но в то же время было что-то неподвижное, даже как будто безумное. Пульхерия Ивановна заплакала» (*Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том шестой. Л., 1973. С. 150, 151).

⁵ См.: Гегель Георг Вильгельм Фридрих. *Философия права.* М., 1990. С. 327.

И потому, надо полагать, в акте прощения забвению подлежит не факт преступления, а сама мораль, чувствительная к социальной форме, в которой мы находим любого другого. Отстраненное отношение к социальной норме, предписывающей ту или иную форму социального взаимодействия, по сути дела есть отстранение от социального смысла. Эта планка не может быть преодолена социальным существом, наделенным одним лишь моральным и правовым сознанием.

Отказ от возмездия морально оправдан лишь при условии, если преступление не содержит в себе всеобщего и целиком уместается в рамках единичности, оставаясь событием для потерпевшего, но не для народа, с которым он связан теми же моральными узами, что и с преступником. Однако преступление не может не содержать в себе посягательства на всеобщее, поэтому прощение возможно лишь в том случае, если событие, в котором усматривают повод для моральной оценки и морального отношения, рассматривается лишь в пространстве индивидуального, где каждый из нас волен сам определять значение факта. Но в эту дверь мораль не впускают. Личное прощение не исключает общественной оценки содеянного, иначе оно само рискует стать аморальным поступком, поскольку в жертву личным отношениям приносятся общественные интересы, а народ как нравственное целое и моральная ценность теряет свое абсолютное значение.

Неспособность к прощению есть свидетельство того, что люди дистанцированы друг от друга, право трезво признает и фиксирует это обстоятельство. Требование отказа от назначения наказания поэтому есть требование отказа и от права как такового, что при отсутствии близких отношений между людьми не может не быть лицемерным. Современная правовая жизнь не вписывается в рамки евангельских заповедей, но иного не может быть, поскольку право, являющееся средством принуждения людей к исполнению обязанностей, не может быть христианским, как не могут быть христианскими мир, культура и государство.

Для прошлых эпох религиозный смысл амнистии выступает как единственно возможный, поскольку никто не мог обязать власть отступить от собственных решений. В средневековом Китае право на амнистию считалось привилегией императора, который воспринимался как единственный источник права. Силой закона обладали даже его устные высказывания. Указы императора об амнистии призваны были являть милосердие императора к его подданным и подкреплять его торжество, помимо этого император мог оказать влияние на проявления стихийных космических сил, особенно если они оказывали разрушительное воздействие⁶. Эта мифология не составляет особенности древней китайской традиции: в России законодательные акты об амнистии также являют собой символическую форму как торжества, так и поражения верховной власти. Смерть Сталина в марте 1953 г. послужила основанием для самой широкой амнистии,

⁶ См.: Къчанов Е. И. Основы средневекового китайского права (VII–XIII в.в.) М., 1986. С. 91.

которую когда-либо проводила Советская власть. И хотя в преамбуле законодательных актов об амнистии мы не найдем ссылок на космические обстоятельства, сакральный смысл амнистии-заклинания в условиях обождествления верховной власти достаточно очевиден.

Поскольку укоренившееся в культуре представление о мироустройстве не вмещает в себя возможности безнаказанного посягательства на социальный порядок, представление о наказуемости трансформируется в каждую эпоху, но никогда не исчезает полностью. Ситуация безнаказанности действительно опасна для любого порядка, поскольку в случае его нарушения уместен вопрос о преимуществах сложившейся системы отношений по сравнению с любой другой, в том числе и той, которая порождается самим преступлением. Редкий российский предприниматель в недавние 90-е годы не оказывался перед выбором: кому платить? Этот вопрос был лишен моральной подоплеки и решался сугубо из практических соображений. Платили бандитам, платили милиционерам. Не платили лишь тем, чье ничтожество и пустой гонор были очевидными.

Более ста лет назад Эмиль Дюркгейм провозгласил безоценочное отношение к преступлению и предлагал его рассматривать как функцию нормального социального организма и прелюдию к реформам. «Свобода мысли, которой мы пользуемся ныне, была бы невозможна, если бы запрещавшие ее правила не нарушались вплоть до того момента, когда они были торжественно отменены»⁷. В этой – социологической – парадигме по сути дела не остается места для вины преступника и метафизического зла преступления. Именно этим выводом Дюркгейм и завершил свои рассуждения: «... само преступление уже нельзя понимать как зло, которое необходимо подавлять разными средствами»⁸.

Для советского человека концепция французского социолога была более чем понятна, и дело здесь даже не в том, что объемный опыт лагерной жизни нескольких поколений деформировал понятие преступления как акта индивидуального поведения. Злом оказывалось любое самостоятельное от государства существование: «частник» и «частное» стало синонимом противозаконного. Интеллигенты занимались «шашкой» в сельской местности, горожане, кто как мог, спекулировали на черных рынках, колхозники превратились в мелких «несунов», а молодые люди, достигшие призывного возраста, искали с помощью родителей врача, который бы своим заключением мог освободить их от бессмысленного прозябания в армии. В 90-е годы рыночные реформы возвели советских валютчиков в статус прагматично мыслящих диссидентов. Депутат с наличием судимости перестал восприниматься как нонсенс. Моральное давление на суд, оказываемое жертвами финансовых пирамид, иллюстрировало в вечерних новостях ошибку моральных и юридических оценок. Пострадавшие от мошеннических действий люди боготворили своих злодеев, злодеи вно-

⁷ Дюркгейм Эмиль. Норма и патология // Социология преступности (современные буржуазные теории). М., 1966. С. 43.

⁸ Там же. С. 44.

сили в Государственную Думу законопроекты о собственной амнистии. Простота, с которой рассуждал герой известного советского телесериала («вор должен сидеть в тюрьме!»), и поныне воспринимается как недостижимый общественный идеал.

Если не сводить суть преступления к конвенциональному понятию и сохранить в нем онтологическое содержание, определяемое в наброске как способ социального бытия посредством игнорирования Другого, вина может быть понята как социальная бесчувственность, как мироощущение, в котором не находится места для чужой боли (субъективности).

Но и для самого правосудия безразлично, есть ли вина как особое нравственно-эмоциональное переживание у самого преступника или же нет. В этом смысле вины как факта и, соответственно, как некоего психического объекта доказывания не существует. В противном случае суд был бы вынужден освобождать от ответственности всякий раз тех отъявленных злодеев, которые, совершая преступление, даже не помышляли о собственной вине и не пришли к раскаянию. Но какая-то вина в виде постулируемого в приговоре отношения к содеянному все же устанавливается в ходе судебного заседания, и вердикт суда, ее констатирующий, признает обоснованность карательных притязаний и ту реальность, в которой они оказываются возможными, — общность, государство или объединенное в единый социум человечество.

Само деяние (неисполнение обязанности, превышение полномочий, злоупотребление доверием, причинение увечья, насилие, материальный ущерб и т. д.) не способно возмутить чувство справедливости и вызвать в ком-либо жажду отмщения. Ощущение несправедливости привносится образом преступника, от действий которого люди незаслуженно терпят убытки. Понеся ощутимый урон от урагана, мы возмущены тем, что кто-то, воспользовавшись стихийным бедствием, забрался в наш погреб и украл сметану. Величина ущерба от урагана несопоставима с размером бытовой кражи. И тем не менее ощущение свершившейся несправедливости будет лишь от кражи. Стихийные бедствия и удары судьбы также способны иной раз возмутить нас, но в этом случае объектом возмущения будет уже не бессовестный человек, а сама судьба, наша жизнь, сам Бог, и это возмущение являет собою уже не жажду мести, а метафизическое восстание и религиозный бунт.

Современная культура в своем историческом развитии выработала принципы, соответственно которым осуждению подлежит не человек, совершивший неблагоприятный поступок, а само деяние. Однако логика права совершенно иная: осуждается именно человек, и самый глубокий смысл наказания состоит в отвержении обществом личности преступника, в локализации его бытия, в отстранении и изоляции его от общества⁹. Гуман-

⁹ В предпринятом исследовании жизни обитателей Сибири и Сахалина А. П. Чехов писал: «Часто употребляемое выражение, что смертная казнь практикуется теперь только в исключительных случаях, не совсем точно; все высшие карательные меры, которые заменили смертную казнь, все-таки продолжают но-

ное отношение к преступнику заключается лишь в том, чтобы не принимать правовых оценок как окончательных и исчерпывающих, в которых будто бы содержится вся правда о совершившем преступлении человеке. Человек несводим к определению, в своей непосредственной данности он никогда не тождествен понятию о нем, и потому наше личное отношение к преступнику никогда не совпадает с правовым.

Попробуем понять, что стоит за метафорами, которыми объясняют смысл наказания: лишение свободы, локализация бытия, изоляция от общества...

Наказанием может считаться лишь та мера принуждения, которая направлена на реальное уменьшение имеющихся у преступника благ. Поскольку разный статус и различия в образе жизни существенно меняют их перечень, достижение формального равенства при назначении наказания может быть гарантировано юридической фикцией: равная кара предполагает равные блага. Каждый человек располагает своей жизнью, телесностью и здоровьем, свободой и имуществом. Жизнь неделима и потому не может быть объектом карательного воздействия. Здоровье и имущество выступают материальными предпосылками свободы, которая и есть основное благо, подлежащее умалению в процессе исполнения наказания.

Свобода предполагает оставление субъектом своей единичности, слияние с миром и его освоение¹⁰. Свободный человек не бежит от мира и не воспринимает события как проявления чужой воли. Для свободного человека отказ от своих поступков и ответственности равнозначен отказу от самого себя и своей индивидуальности, отказу от своего бытия. Поэтому свободный человек, если он не отрицает авторства своих поступков, нуждается в ответственности и наказании. Отказ от ответственности — это отказ от той формы бытия, в которой человек обретает смысл своего существования. Бегство от наказания — удел несвободного человека, даже если на словах это делается во имя того, чтобы ее сохранить.

Нежелание испытать всю тяжесть наказания косвенным образом служит признанием преступника в неистинности, неузнанности своего существования. Если я соглашаюсь с тем, что мной было совершено вредное деяние, но при этом не принимаю юридические последствия своего деяния, то, следовательно, я готов к признанию собственной раздвоенности: преступление совершено не мною, но другим во мне.

Если кто не принимает всех последствий собственного поступка, он не принимает самого поступка, редуцируя все его социальное содержание

силь самый важный и существенный признак ее, а именно — пожизненность, вечность, и у всех у них есть цель, унаследованная ими от смертной казни, — удаление преступника из нормальной человеческой среды навсегда, и человек, совершивший тяжкое преступление, умирает для общества, в котором он родился и вырос, так же как и во времена господства смертной казни» (Чехов А. П. Собрание сочинений. Том десятый. М., 1963. С. 26–27).

¹⁰ «Индивидуум есть единичность, а свобода есть уничтожение единичности» (Гегель. Политические произведения. М., 1978. С. 225).

к двум-трем моментам, в которых сохраняется позитивный смысл. Так, хищение интерпретируется вором как оказание материальной помощи близким, получение взятки – как внимание взяточника к чужой просьбе. Это не остается без последствий для мышления преступника, избравшего своим жизненным принципом усечение социального и вражду с миром. В его речи нет места живому человеку, которого он избрал своей жертвой и мишенью. По словам Д. С. Лихачева, мы здесь имеем тенденцию превращения человека в «неживую природу»¹¹. Потерпевший оказывается «терпилой», судьбой предназначенным к незавидной участи. Напротив, материальные предметы одухотворяются, перенимая на себя ответственность за все события, в которых участвует вор. Принимая власть господина случая, преступник прощается со своей субъективностью, о которой случаю ничего не известно. Достигнутое таким образом состояние негативной свободы как безответственности губительно для личности тем, что отсекает ее от собственного бытия. Но вне бытия нет ни личности, ни ее свободы, ни чего-то иного. Возвращение к безличному бытию в примитивной форме враждующей с внешним миром корпорации низводит жизнь человека на уровень доисторического охотника. Отсеченный от культуры своим преступлением, он способен вступать в общение не от своего имени – его он силится забыть, – а посредством его имитации – клички или псевдонима¹².

Совершая преступление во имя какой-либо цели, человек выбирает не только блага, доступные благодаря злодеянию, но и новое бытие, в котором он может жить лишь при условии, если будет другим, свою прежнюю жизнь он утрачивает. Это уже – анонимная жизнь другого человека. И ничто в этом новом, сотворенном преступлением мире он не может назвать своим. Его удел – жить в нем инкогнито, неузнанным, ограничивая свое жизненное пространство общением с теми, кто не склонен его осуждать. Это и есть та локализация, которая в качестве необходимого следствия сопутствует преступлению. Но жить неистинной, чужой жизнью можно только с ощущением собственной смерти.

Наказание изначально было призвано возвращать человека к жизни, не случайно его первые исторические формы символически воспроизводили смерть и рождение нового человека. Заключение в темницу преступник пребывал в царстве мертвых. Эта мифологема воспроизводилась всякий раз, в том числе и в попытке «перековки» преступников при строительстве Беломорканала уже в недавние времена. Мысль о том, что наказание способно каким-то образом исправить преступника, нашла свое радикальное воплощение в современном законодательстве России и других стран, где по-прежнему одной из целей наказания указаны его исправление и перевоспитание. В советской науке даже высказывались предложения о продлении назначенного судом срока наказания, если опреде-

¹¹ См.: Лихачев Д. С. Из ранних произведений (сборник). Тверь, 1992. С. 81.

¹² Эту закономерность А. П. Чехов отметил во время исследования жизни ссыльных на Сахалине (Чехов А. П. Собрание сочинений. Том десятый. М., 1963).

ленная в приговоре его длительность не привела к ожидаемому «исправлению». Лишь в 70-е годы правоведы сошлись во мнении, что цели наказания и его содержание – вещи довольно разные.

Какие бы цели умозрительно ни ставились перед наказанием, его содержание оставалось практически неизменным – лишение благ. Наказание, состоящее из мер исправительного либо воспитательного характера, утрачивает свою сущность – быть страданием, претерпеванием каких-либо ограничений. Перевоспитание, если оно возможно, должно быть сопряжено с процессом исполнения наказания, но не способно подменять собственно то, что составляет его специфику, – кару, страдание за причиненное преступлением зло.

Коль скоро наказание составляет противоположность преступлению и находится с ним в отношениях диалектического единства, оно не может быть не чем иным, как возмездием, в котором совершивший преступление встречается не с произволом судьбы или безликой волей государства, но с тем, что составило его собственный выбор, – посягательством на всеобщее¹³.

Преступление вселяет в людей расчетливое опасение и страх, а преступник – метафизический ужас. Страх перед преступлением – это благоразумное отношение к опасности, свидетельство того, что нам дороги какие-то вещи, блага, которые мы боимся утратить. Иное дело – ужас перед преступником. Это уже иная ситуация: мы не уверены, остались ли после увиденного преступления в нас какие-либо ценности, не опровергнутые способностью преступника надругаться над ними. Преступник вызывает в нас недоверие к миру и собственной природе: мир становится непонятен, коль скоро его законы можно отбросить усилием единичной воли. Мир вследствие оставшегося безнаказанным преступления становится недостоверным, он утрачивает свою определенность, если человек переступает законы бытия и остается жив. Поэтому в отношении к преступнику так много мистического: он воспринимается неувязчивым, как пришелец из другого мира, как восставший из гроба мертвец, который страшен тем, что не может умереть. Он вселяет в нас мистический ужас, потому что существует, отрицая требования самой жизни, которая возможна как адаптация, согласованность, гармония, мир. Неотмщенное преступление подводит пострадавшего к дилемме: или я сам живу не по настоящим законам жизни (и тогда все обесмысливается), или – преступник. Наказание неизбежно следует за преступлением – не как факт, а как логическое следствие повседневности. Так люди убеждаются в истинности собственных ценностей и возвращают доверие к миру, в котором непозволи-

¹³ Гегелю были известны все те теоретические обоснования целей наказания, которые в несколько видоизмененном виде воспроизводятся в современной юридической литературе, поскольку его современники неоднократно высказывались и о необходимости исправления преступников, и о превентивной роли наказания. Однако он настаивал на том, что в наказании разумно только возмездие, поскольку лишь в этой определенности оно противоположно преступлению (См.: Гегель. Политические произведения. М., 1978. С. 227).

тельно разрушать его цельность и произвольно подчинять себе его собственную природу. Человеческая солидарность ничего не стоит, если преступивший закон преступник позволяет себе творить зло, ничем не рискуя. Наказание возвращает человечеству поколебленные преступлением ценности, которые либо утратили свою всеобщность в сотворенном преступлением мире («справедливость только для избранных»), либо вообще были отброшены как предрассудок. Эту задачу правосудие решает не без потерь: изолируя преступника, отдаляя его от общества, оно тем самым и общество отдаляет от человека.

Итак, в случае вынесения судом обвинительного приговора мы имеем «изолированного» человека, чей изоляционизм обуславливает соответствующую ему форму социального дистанцирования. Справедливость приговора обеспечивает единство внутреннего содержания личности преступника и того места, которое он занимает в социальном пространстве. Оставим в стороне вопрос об извращенном правосудии, смыкающемся с политической властью, и о том, какова цена приобретения обществом авторитетной судебной инстанции¹⁴. Попробуем подвести некоторый итог и обозначить проблемы, требующие философского осмысления в случае назначения справедливого наказания.

Человек, отбывая наказание, находится в парадоксальной ситуации. Как социальное существо, он должен понимать смысл назначенного ему наказания, иначе оно предстанет перед ним лишь «механикой знаков, интроскопов и длительности»¹⁵. Но понимание смысла назначенного наказания устраняет необходимость его отбывания. Как социальное существо, он не может быть изолирован от общества, т. е. быть свободным от социальности как таковой. Но его удаляют от той социальной среды, с которой в процессе отбывания наказания он должен приобрести утраченное единство. Его, неустойчивого в правомерном поведении, принудили вести такой образ жизни, в котором цена правомерности, если не сказать больше – человеческой порядочности, неизмеримо оказывается выше. Имитация институтов общества, которое их отвергло, консолидирует заключенных в коллективном противостоянии официально приобретенному ярлыку негодяя. Так рождается миф об особой опасности особо опасных¹⁶. Следуя этому мифу, общественное сознание еще более убеждается в его соответствии действительности, поскольку высота барьера отчужденности общества от преступников определяет степень консолидации осужденных в местах лишения свободы и в период ресоциализации по отбытию наказания.

¹⁴ Судебная власть отвечает своему понятию в той мере, в которой независима от иных ветвей государственной власти и самостоятельна. Поэтому есть сомнение в том, чтобы ее приписывать к ведомству государства, исторически возникшего позже правосудия.

¹⁵ См.: Фуко *Михель*. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М., 1999. С. 158.

¹⁶ Несвобода ограничивает выбор санкций, наличие которых свойственно любой социальной организации. Если государство отобрало свободу, сообщество заключенных отбирает у провинившихся достоинство, здоровье и жизнь. См. подробнее: Хохлаков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991.

The punishment as an existential situation

Y. Permyakov

The article deals with existential foundations of the claims and special features of the criminal punishment.

Key words: punishment, guilty, repentance, retribution, revenge claims, vengeance, forgiveness, singularity, humanity, justice, fate, freedom, location of being, criminal policy.